

МОСКВА ВОЕННАЯ

«Это моя последняя оборона...»

“

ВОЙНА

(УЗНАЛА НА УЛИЦЕ, ВОЗЛЕ ВОРОНЦОВА
ПОЛЯ, ИЗ ОТКРЫТОГО ОКНА «...»)

” ,

– записала Марина Цветаева в своей черновой тетради 25 июня 1941 года [2, 108].

Эта новость застала ее неподалеку от дома. Марина Цветаева с сыном Георгием (Муром) ютились в маленькой комнатке на Покровском бульваре, дом 14/5. Это первый официальный адрес Цветаевой в Москве после возвращения ее из эмиграции, адрес, по которому она, москвичка, впервые смогла прописаться. Комнатка обставлена более чем скромно: письменный стол у окна, топчан для Мура, что-то напоминающее лежанку, сделанную на скорую руку из ящиков и чемоданов, для самой Марины Ивановны да полка с книгами – простая доска, приколотая к стене.

Марина Цветаева – с виду обыкновенная советская гражданка, в которой невозможно узнать московского поэта 1910–1920-х, или вернувшуюся из Парижа бывшую эмигрантку, или дочь основателя Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (именно так стал называться музей с 1937 года).

«Чаще всего ее можно было встретить в костюме, юбка – широкая книзу, длинная, “миди”, как говорят теперь, блузка и из той же материи, что и юбка, жакет, берет и туфли на низком каблуке.

М.И. Цветаева. [1940 г.]



Очень запомнилась в движении. Как-то я шла по Тверской вверх от Охотного, а на другой стороне из книжного магазина – был такой в полуподвальчике узкий и длинный магазинчик, который часто посещали писатели, кажется, на том самом месте, где теперь возвышается новое здание гостиницы, – вышла Марина Ивановна и, помедлив, направилась к Охотному. Я остановилась и глядела, как она идет. <...> Шаг – широкий, легкий, ступала уверенно, по-мужски, но это ее не портило и даже шло к ее невысокой, невесомой фигуре. Твердость и уверенность шага, и это при полной ее близорукости и боязни московских улиц, как и улиц вообще! Говорила, что любит чувствовать под ногой не асфальт, а землю, и не шум слышать городской, а тишину загорода. Дойдя до перекрестка, она остановилась и нерешительно потопталась на месте, потом суетливо метнулась в одну сторону, в другую и, наконец, ринулась через дорогу, должно быть, как в прорубь головой... Но благополучно добралась до противоположного тротуара и, опять уверенно и быстро шагая, скрылась за углом» [1, 29–30].

Это воспоминания Марии Белкиной, близкой знакомой Цветаевой последних двух лет её жизни.



Улица Горького (ныне Тверская).
Фото Х. Формана. 1939 г.

Начало войны застало Марину Цветаеву в бесконечных хлопотах: работа в Гослитиздате, литературная поденщина, сборы посылок дочери в лагерь, передачи мужу, сидящему в тюрьме, дела по дому – обычные дела советской хозяйки: стирка, готовка, стояние в очередях. Даже участие в общественной жизни страны, которая нуждалась в финансовой помощи своих граждан: подписка на заем в Гослитиздате, а также участие в военной подготовке гражданского населения – посещение курсов противовоздушной, противохимической обороны, или ПВХО, как их называли сокращенно.

«Она, как и все мы,
подписывается на заем,
не имея денег, и у нее будут
высчитывать из гонораров,
которые и так не бог весть какие!
<...>

Мне рассказывали, что на занятиях ПВХО она с недоверием относилась к противогазу, уверяя – если действительно придется его надевать, то шланг обязательно перекрутится, и уж лучше умереть от газов с открытым лицом, чем задохнуться под этим резиновым забралом...» [1, 378].

В мае Цветаева, как и все, строит планы на лето. Мур в своем дневнике записал:

«Мать поговаривает о том, что мы поедем на лето в Ялту, Дом писателей»
[7, 348].

Хотя комната в квартире на Покровском бульваре, по сравнению с подавляющим большинством жилья довоенной Москвы, благоустроена (в доме есть лифт, водопровод, телефон, газ и ванная комната), Марина Цветаева подыскивает другое жилье. Виной тому дороговизна и постоянные ссоры с соседями.

ЗАПИСЬ В ДНЕВНИКЕ ГЕОРГИЯ ЭФРОНА ОТ 31 МАЯ 1941 ГОДА:

«Вчера был крупный скандал с Воронцовыми – на кухне. Ругань, угрозы и т.п. Сволочи! Все эти сцены глубоко у меня на сердце залегают. Они называли мать нахалкой, Воронцов говорил, что она “ему нарочно вредит” и т.п. Они – мещане, тупые, “зоологические”, как здесь любят писать. Мать вчера плакала и сегодня утром плакала из-за этого, говоря, что они несправедливы, о здравом смысле и т.п. <...> Положение наше серьезно – нужно через 2 с ½ месяца платить за комнату 5000 р., кроме того – эти скандалы со сволочами-Воронцовыми. Я упрашиваю мать не ратовать за “справедливость и здравый смысл”, а поменьше быть на кухне и не готовить, когда готовят эти идиоты» [7, 349–350].

Комната Марины Цветаевой в коммунальной квартире на Покровском – маленький островок ее личного мира. Наряду с хаосом вещей и рукописей, всегда господствовавших в цветаевском пространстве, переступающему порог гостю открываются «сокровища», имеющие только свой особый цветаевский символический смысл:

«Неуют чужой комнаты, длинной, узкой, с окном в глубине, у окна стол, заваленный, заставленный всем, что ни попадя – и кастрюли, и тарелки с остатками еды, и книги, и учебники Мура, и ее тетради, и эта шкатулка, и в ней ее недорогие драгоценности: кольца, браслеты, грубоватые, с неотделанными камнями, цыганские, как она говорила, серебряные, сделанные скорее не ювелирами, а какими-то умельцами. Ни одного золотого украшения у нее или на ней я не видела» [1, 28].

«Марина Ивановна как-то бросила вскользь, когда я рассматривала ее украшения, сваленные в старую шкатулку:

– Я никогда с ними не расставалась, даже в самые трудные времена!

Дарить – дарила. Продать – никогда» [1, 28].

Кольца на ее руках удивительным образом сочетались с нескончаемой грязной работой. Руки, привыкшие к стирке в тазу, к топке печей, к варке супов, не гнушались поднять с земли оброненную кем-то луковку и сунуть в карман. Это случилось уже после возвращения из Парижа, в Москве, во Вспольном переулке. На удивленный и вопросительный взгляд своей спутницы Марина Ивановна сказала: «Привычка... В Париже бывали дни, когда я варила суп на всю семью из того, что удавалось подобрать на рынке» [1, 80].



Украшения Марины Цветаевой

Здесь, в Москве, Марина Цветаева почти не пишет стихов. Последнее стихотворение было написано за три с половиной месяца до начала войны. В своей записной книжке она фиксирует реальный или возможный диалог с собирательным образом современника, знающим Цветаеву как поэта, а не как переводчика:

«Почему Вы не пишете? – Потому что время – одно, и его мало, и писать себе в тетрадку – Luxe [Роскошь. – нем.]. Потому что за переводы платят, а за свое – нет» [З, 612].

Ее главная забота – сын, который учится в старших классах школы и нуждается в комфортной организации быта для учебы.



«Мур мне нынче негодующе
сказал: – Мама, ты похожа на
страшную деревенскую старуху!
– И мне очень понравилось –
что деревенскую. Бедный Кот,
он так любит красоту и порядок,
а комната – вроде нашей в
Борисоглебском, слишком
много вещей, всё по вертикали»
[4, 418],

– так Цветаева пишет дочери
Ариадне, свидетельнице такого же
разгромленного семейного быта
во время Гражданской войны.

Теперь же Цветаева озадачена сбором посылок Але в лагерь: пальто на шерстяной вате, валенки, калоши, ботики, платья, сахар, бекон, сушеные овощи. Аля выслана из Москвы в Архангельскую область в город Котлас.

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ ПЕРЕВОДОВ 29 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА:

«Последняя передача Але была 10-го января 1941 г. 27-го – не приняли: могу принять только для одного. – Э<фрон>? Как имя? – Ея? – Да. – Ариадна. – Она от нас выбыла в город Котлас, Северные железнодорожные лагеря. (Кот–лас, Кот–лас – тут же записала, да и записывать не нужно было: Коть–лас(ковый) – отметила ли Аля?)» [2, 82].



С.Я. Эфрон и А.С. Эфрон. [1937 г.]

“

Аля, если бы ты знала, как я скучаю по тебе и папе.
Мне очень надоело жить, но хочется дожить до конца мировой войны, чтобы понять: что – к чему. У нас радио, слушаем всё вечера, берет далёко, и я иногда как дура рукоплещу – главным образом – высказываниям здравого смысла, это – большая редкость, и замечаю, что я сама – сплошной здравый смысл.

Он и есть –

П О Э З И Я

”

(из письма к А.С. Эфрон от 16 мая 1941 года) [4, 426].

Марина Цветаева принадлежит к этой стихии, которая преодолевает земное притяжение и уносит вверх, в воздух, в вечность, позволяя смотреть на этот мир сверху, не принимая во внимание его рутинных забот. Но на протяжении всей ее жизни быт опутывает, тянет и приковывает к себе, и она со всей искренностью заявляет, что не знает, как жить в этом постоянном окружении кастрюль, тазов, метел, денег.

«Еще одно: про мою пресловутую гордыню. Одаренную всеми дарами – дочь неба – бросили с седьмого из них (небес) в самую базарную гущу, в живой комок хозяек и служанок. И в ответ на все мои усилия: – Разве так продают? – Я не умею продавать. – Разве так покупают? – Я не умею покупать. – Разве так метут?.. – Я не... Почем я знаю, как метут? У нас там не мети... – Где – у вас? – В Эмпиреях.

Ведь я на этот возглас – вызвана. Это моя последняя оборона, чтобы не сожрали живьем» [2, 80].

Она ходит по своему городу, некогда
воспетому ею. Как когда-то в 1916 году,
она исхаживает «пешком», «молодым
шажком» свое «привольное семихолмие».
Только теперь она говорит не со
святынями и не с московским людом –
«юродивым, воровским, хлыстовским»,
а с уличными фонарями – свидетелями
ее ежедневного пешего быстрого
стремительного хода:

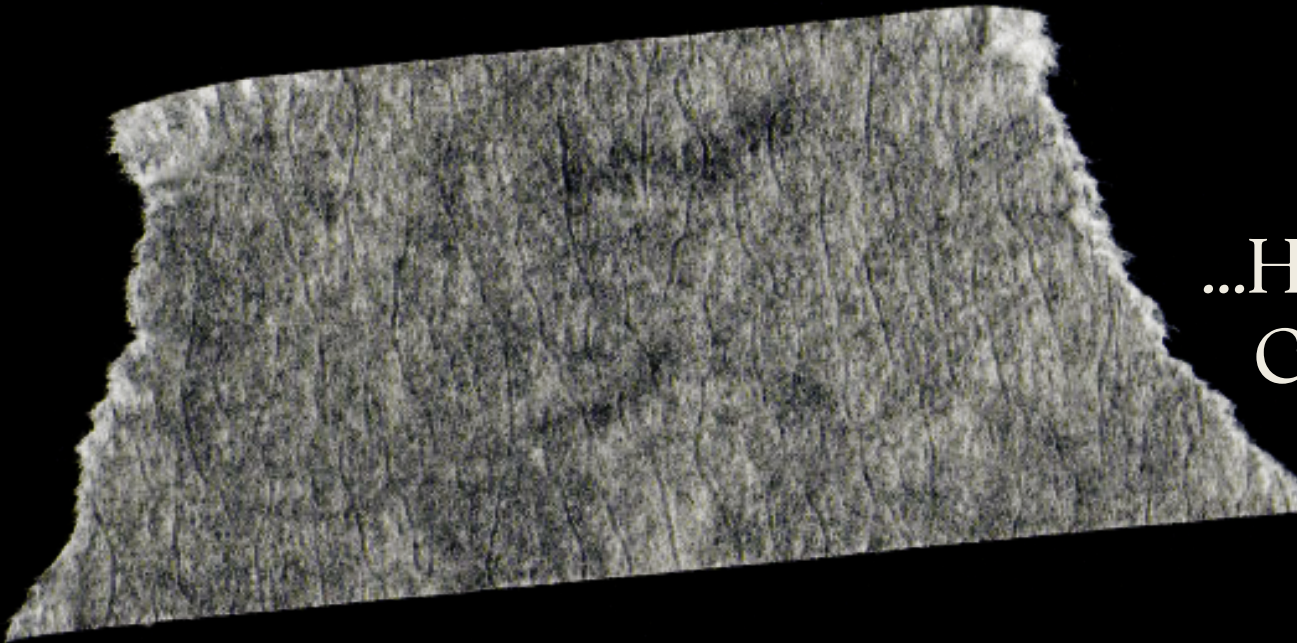
Так ясно сиявшие
До самой зари –
Кого провожаете,
Мои фонари?

Кого охраняете,
Кого одобряете,
Кого озаряете,
Мои фонари?

=====

...Небесные персики
Садов Гесперид...

Декабрь 1940 г.
[5, 368]



Она не узнает своей Москвы, ее раздражают высотные здания, которых становится все больше и больше. Это город, в котором она плохо ориентируется: отчасти из-за близорукости, отчасти из-за сильного изменения городского пейзажа и своего внутреннего неприятия его. Она боится трамвая и путь от своего дома до станции метро «Кировские ворота» (ныне «Чистые пруды») предпочитает проходить пешком. Это кружение по Москве подобно блужданию в каменном лабиринте, столица приобретает для Цветаевой образ западни, из которой хочется вырваться, но даже исход из этого капкана не представляется ей возможным из-за утраты городом знакомого привычного облика старой Москвы.

«Я здесь всё время – под тучей: под смертью. Всё ищу – как, примеряю (маршрут с Кировских ворот до нашего бульвара) То – седьмой этаж, нет, вышка гостиницы Москва, но – до чего безобразно! (другим). То – мост, но на мосту (в Москве везде – всегда, нет такой щели, чтобы *не*) – народ. Внутрь – *нечего* и *мерзость*. Есть, конечно, Федрин сук: лес, п.ч. крюков больше нет – п.ч. люстр больше нет. И перекладин больше нет – п.ч. чердаков (своих) больше нет. “Думали – нищие мы, нету у нас ничего”...

А, главное, всё это – совершенно обратно моей природе: счастливой, довольной – всем. Я и старость приняла – с улыбкой, без всякой жалости. Но как можно – с улыбкой – *такое*? Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость» [2, 84].

Цветаева словно бы чувствует свою неуместность в современном мире, в стране, которой оказались очарованы ее дети. Она несет свою старомодность с абсолютной самодостаточностью и, будучи в полной трезвости, отмечает конец своей эпохи, глухоту современного мира к себе как к поэту, как к человеку, который несет память предыдущих лет:

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...

Февраль 1941 г.
[5, 368]

Однако, находясь в эмиграции, она не без поэтического интереса прикасается к советской культуре, переводя на французский язык тексты советских песен:

«14-го апреля 1941 г., день смерти Маяковского
Под песню: Москва моя! Москва моя!

Ты самая любимая...

У меня есть свой Советский Союз – Песен. Это началось давно, в Париже, с Веселых Ребят – и Широка страна моя родная – и длится до сих пор.

Очевидно ударяет по простонародности во мне» [2, 95].

Неофициальная литературная Москва знает о том, что Марина Цветаева вернулась из эмиграции. Зимой 1940-го начали ходить слухи о вернувшейся из Парижа вслед за мужем и дочерью Цветаевой, почти сразу после возвращения муж и дочь были арестованы, а Цветаева с сыном оказалась один на один с проблемой съема жилья, с хлопотами об арестованных на таможне вещах и безденежьем. Московские ценители художественного слова уже знакомы с эмигрантским творчеством Марины Цветаевой: из-за границы в Союз попадали ее тексты с личными письмами, читались на литературных «квартирниках», переписывались на слух и по памяти. Поэтому по приезде Цветаева становится дорогой и желанной гостьей на закрытых поэтических встречах.

«Ведь что́ со мной делают? Зовут читать стихи.
Не понимая, что каждая моя строка – любовь, что если бы
я всю жизнь вот так стояла и читала стихи – никаких
стихов бы не было. “Какие хорошие стихи!” Ах, не стихи –
хорошие»

(из письма к Т.Н. Кваниной от 17 ноября 1940 года) [6, 704].

В маленькой квартирке двухэтажного особняка во Вспольном переулке в гостях у переводчиков Николая и Натальи Вильям-Вильмонт Цветаева читает свои стихи, на Кропоткинской звучит ее «Крысолов» из уст молодого поэта Ярополка Семенова в присутствии автора, у известного книголюба Анатолия Тарасенкова в его так называемом «подпольном книгохранилище» (тома старых, букинистических изданий русской поэзии не уместались в жилой комнате и заполняли еще и подпол) на Рождество 1941 года Марина Ивановна читает свою «Поэму Конца», в Малом Кисловском в кабинете литературоведа Евгения Тагера звучит поэма «Мóлодец», в Телеграфном переулке в литературном салоне переводчицы Нины Яковлевой поздним вечером 21 июня 1941 года Цветаева читает свою «Повесть о Сонечке».



Телеграфный переулок, д. 9
[снимок 1979 г.]

«Потом шли по бульвару, провожали Марину Ивановну <...> И снова читали стихи, стоя посреди бульвара, а кто-то сказал – какая чудная летняя ночь, какая тишина, какой чистый воздух после дождя, какое прозрачное небо! И как не верится, что где-то там идет война и что война эта может настигнуть и нас... О войне говорили и думали все, говорили и в ту ночь...

Потом Марина Ивановна пришла домой и, может быть, еще читала. И когда наконец она заснула на своем жестком ложе на чемоданах и ящиках, за голым окном ее комнаты уже розовел рассвет. Для многих и многих последний в их жизни рассвет...

От Балтийского моря до Черного моря с восходом солнца уже начинался бой. С грохотом и ревом обрушилась на нашу землю война! <...> И уже по всей нашей западной границе бьет тяжелая немецкая артиллерия: германская армия пошла в наступление... И, застигнутые врасплох, уже гибнут и гибнут люди в неравном бою...

А мы все спим, “как только в раннем детстве спят...”. Как только в молодости – под воскресенье, когда завтра некуда торопиться, некуда спешить»
[1, 381–382].

Теперь для Марины Цветаевой, как и для миллионов советских граждан, начинается совсем иная жизнь – военная, полная смятения, неопределенности и страха, рушащая все планы и надежды. На все это накладывается прежняя бытовая и финансовая нестабильность, а также неосведомленность о местонахождении мужа (заключенных переводили из одной тюрьмы в другую) – и даже неуверенность в том, что он жив. Цветаева постоянно живет в тревожном ожидании вестей, которое еще больше усиливает и без того лихорадочно-нервное состояние. В ночь на 25 июня в квартире на Покровском бульваре раздается телефонный звонок, на который она не успевает ответить:

«Вчера в три часа ночи воздушная тревога в Москве. Утром мы узнали, что это было упражнение. Во всяком случае, я в ту ночь очень мало спал. Случилась странная вещь: в час ночи телефонный звонок. Няня хозяев кинулась к телефону, стучит к нам в дверь: НКВД. Мать берет трубку – никого. Видимо, повесили трубку. Теперь мать страшно беспокоится, она думает, что папа умер, что ее арестуют, что нас вышлют из Москвы и Бог знает что. Я пытаюсь ее успокоить» [7, 398].



Г.С. Эфрон. [1941 г.]

Москву начнут бомбить только через месяц, но учебные тревоги уже проходят по ночам, обязывая жильцов дома дежурить на крышах и во дворах. Мур, как и все мальчишки его возраста, ходит на эти дежурства, следит, чтобы не нарушалась светомаскировка, а позже, во время уже настоящих авианалетов, тушит зажигалки. Это вгоняет Марину Ивановну в еще больший ужас: она боится смерти, увечья, боится, что осколок попадет Муру непременно в глаз.

Через неделю после начала войны,
28 июня, в дневнике Георгия
появляется такая запись:

«Сегодня явилась хозяйка и сказала
матери, что мы должны послать
прошение в домком о том, что мы
убираемся вон и что нам дается три
месяца, чтобы убраться и найти
комнату для жилья. Хорошо, а!
В разгар войны нас выпирают на
улицу. Хорошо еще, что дали три
месяца» [7, 409].

Покровский бульвар, д. 14/15



Ситуация с жильем в Москве неоднозначна. С одной стороны, найти новое жилье становится не так уж и сложно, и три месяца являются вполне адекватным сроком для переезда на новую квартиру. Появляются варианты комнат в Романовом переулке (бывш. ул. Грановского), на Садовой-Каретной, на Кропоткинской и на Пушкинской улице. Каждый из этих вариантов значительно уступает по бытовым условиям квартире на Покровском бульваре... Но уже через два дня после первого сообщения квартирных хозяев о выселении их требования меняются:

«Сегодня хозяева – настоящие сволочи – нас уведомили, что мы должны покинуть комнату около 1 августа. А куда деваться?» [7, 415].

Цветаева обращается за помощью к Эренбургу, Асееву, Крученых, но и они не могут помочь:

«Я считаю, что положение у нас настолько серьезное, что мы должны искать помощи у двух сейчас самых “высокопоставленных” людей. В данный момент это Эренбург и Асеев. <...> Наконец Крученых пришел и позвонил Эренбургу. Он его застал, и мама говорит с Эренбургом. Вот удача! Крученых повезло. Ну, посмотрим, что будет. <...> Сегодня мать видела Эренбурга. Встреча с ним не дала решительных результатов. Эренбург говорит, что в данный момент все столь озабочены военным положением, что раньше чем через три недели ничего нельзя предвидеть и предпринять насчет комнаты. Он говорит, что война занимает абсолютно все мысли и что ни о чем нельзя говорить раньше чем через три недели – когда яснее станет военное положение. Эренбург говорит, что немцы предприняли огромное наступление, что война очень серьезная, и только когда спадет ее накал, когда к войне привыкнут, можно будет говорить о комнате» [7, 409–410, 412–413].

А уже 10 июля Мур фиксирует в своем дневнике:

«Сегодня мы узнали, что все отделения милиции получили приказ никого не прописывать в Москве – иными словами, мы не съезжаем (это декрет Моссовета), а остаемся здесь. Только существует ли этот декрет? Во всяком случае, о нем матери рассказала одна подруга из Госиздата. Это та, которая хотела нам сдать комнату на ул. Пушкина, а она узнала от районной милиции. Теперь я думаю, что нас не могут выпереть на улицу» [7, 440].

Любые хлопоты в первые дни войны сопровождаются слухами, что усиливает внутреннюю панику и окончательно сбивает с толку Марину Ивановну.

7 июля Георгий записывает:

«...вдруг мать решила вчера вечером пойти с визитом к одной подружке старушке [В.А. Меркурьевой]. Там она встретила одного своего знакомого, имя его Кочетков, поэта-переводчика. Начались серьезные разговоры: все говорили об обязательной эвакуации гражданского населения Москвы, о газах и других темах, не менее щекотливых. Словом, война! Все говорят, что нужно отсюда выбираться до того, как выйдет официальный декрет об эвакуации гражданского населения. В случае массовой эвакуации все это было бы крайне “некомфортабельным”, толпы людей, осаждающие поезда, чтобы уехать в неизвестность – судьбы и возможность “колхозного” направления, все это с матерью, да еще поэтом!.. <...> Тогда рождается мысль, что нам нужно самим эвакуироваться, до того как “пробьет час”. Вчера Кочетков обещал, что он сделает все возможное, чтобы достать билеты и разрешение отправляться в Ашхабад (Туркменистан). Он убедил мать, что самое разумное для нее – уехать (в случае, если он сам уедет) в Ашхабад, где нет ни бомбардировок, ни газов, ни эвакуации, а сильная жара, скорпионы и в лучшем случае какая-нибудь литературная работа» [7, 429].

Цветаева начинает узнавать об эвакуации, но пока принимает приглашение поэта Алексея Крученых погостить у него на даче в Песках (около 100 км от Москвы по Казанской железной дороге). Эта поездка словно бы дает небольшую передышку между нескончаемыми неожиданными обескураживающими событиями. Но и время пребывания в тишине загорода омрачается мыслями о дальнейшей судьбе: будь то трудфронт, работа в колхозе или эвакуация.

«Скоро начнем с Котом работать в колхозе, нынче я на полном солнце с 11 ч. до 1 ч. полола хозяйкин огород, чтобы испробовать свои силы, и ничего. Но не знаю, как будет с другой работой, притом каждодневной» (из письма к Е.Я. Эфрон от 14 июля 1941 года) [4, 439].

От соседки по даче Нины Павловны Збруевой, вернувшейся из Москвы, Марина Ивановна получает зловещие новости: взят Смоленск, в Москве ожидаются бомбардировки. Смоленск всего в 250 км от Москвы. Также соседка сообщает, что домоуправления посылают подростков 15–16 лет рыть окопы. Муру как раз 16. Планы отъезда в Ашхабад рушатся. Кочеткову дают только два билета. Цветаева обращается в Литфонд, узнает насчет эшелона, ей говорят, что ее случай будет рассмотрен Союзом писателей. В спешке они с Муром едут в Москву. Ровно через месяц после начала войны – в ночь с 21 на 22 июля – Москва подверглась первому налету германской авиации. Вернувшись с дачи, Мур отмечает в своем дневнике:

«Вся Москва только и говорит о бомбежке. Говорят, сильно пострадал Белорусский вокзал, Музей Революции, Исторический отдел Академии наук СССР. Был у Митьки. У него в доме выбиты все стекла, обвалилась штукатурка, попадали все вещи, его квартира – сплошной кавардак <...> Мать буквально рвется из Москвы – совсем струхнула и т.д.» [7, 471–473].

С этого момента для Марины Цветаевой начинаются дни, полные метаний. Невыносимая какофония военного города: вой сирен, громкий шепот слухов, взрывы, застающие Цветаеву то на Арбатской площади, то на Кудринской, – все это вгоняет ее в полнейшую панику с одним-единственным решением: бежать, бежать без оглядки, бежать куда-нибудь, с кем-нибудь, но непременно срочно, непременно сейчас. Мария Белкина вспоминает:

«В эти августовские дни с Мариной Ивановной сталкивались многие во дворе Союза писателей, в клубе. И все запомнили ее растерянной, расстроенной и очень несчастной, и всем она задавала все тот же вопрос – ехать или не ехать? Эвакуироваться или нет?» [1, 410].

Цветаева просится в эвакуацию вместе с Яковлевой, хозяйкой «литературного салона» в Телеграфном переулке, в котором Марина Ивановна была частым гостем. Та едет в эвакуацию в Томск вместе с дочерью как член семьи сотрудника института, но сотрудникам разрешалось брать только ближайших родственников. Лидия Моисеевна Поляк, литературовед, перед отъездом в эвакуацию в Йошкар-Олу встречает Цветаеву в Союзе писателей, которая обращается к ней с единственной просьбой:

«Возьмите меня в качестве домработницы».



Н.Г. ЯКОВЛЕВА

Н.Г. Яковлева [1940-е гг.]

ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ ВОЛНА ПАНИКИ, ЗАХЛЕСТНУВШАЯ МОСКВУ.

Мария Белкина писала о Цветаевой:

«Она была *одна* в своем ужасе, страхе, в своей беспомощности, в своей нерешительности – ведь ко всему тому, что переживали все мы, у нее были еще и особые обстоятельства: ее положение бывшей эмигрантки, жены и матери репрессированных. Ходили слухи, что таких, как она, будут выселять из Москвы, а значит, лучше уехать самой, не дожидаясь...» [1, 412].

Дневниковые записи Мура в эти дни:

- **от 26 июля:** «Уже 3 дня как мы охотимся на достоверность. План отъезда в Чистополь окончательно провалился – в эшелон нас не включили, туда поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми. <...> Каждый день мать бывает в Литфонде, каждый день там новые решения, обращающиеся тотчас же в пух и прах. Там царит несусветный хаос и кавардак» [7, 474];

- **от 28 июля:** «...в ночь с 26-го на 27-ое – Москва вновь подверглась бомбардировке германских самолетов. Я стоял на чердаке дома, и были видны пожары и слышны гнусные взрывы бомб, сотрясавшие наш дом. Объективно – там стоять было очень страшно, но боялся я не особенно <...>

В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий» [7, 476–478].

В эти дни Цветаева пытается найти место в горящей Москве для своего архива, привезенного из-за границы. Еще до войны чемоданчик с цветаевскими рукописями был пристроен на хранение к Тарасенковым. Дом библиофила Анатолия Тарасенкова в Конюшковском переулке неоднократно служил Марине Ивановне кабинетом и тихим местом, где она могла уединиться с книгой в полуподвальном «книгохранилище».



А.К. Тарасенков
в доме
на Конюшках
[1940 г.]

Этому дому она доверяла, эти стены были для нее олицетворением уюта. Дом на Конюшках – это метаобраз дома. Во дворе его, как некогда и в ее родном Трехпрудном переулке, стоял тополь. Зимой с его обледеневших веток прямо над крыльцом свисали длинные прозрачные сосульки, и Марина Ивановна, как-то остановившись под ним, подняла руку вверх и сказала: «Тише!.. Вы слышите, как он звенит...» [1, 250].



Это был дом с пауками в подполе, где стояло кресло, окутанное паутиной, которую она не разрешала сметать, удивляясь тому, как хозяева не понимают – **«Какую мне Фландрию вывел паук»**. Так она писала о своем «чердачном дворце» в Борисоглебском, где жила с двумя маленькими дочерьми в послереволюционные годы.

М.И. Белкина в доме № 20 в Большом Конюшковском переулке. Москва. [1940 г.]

До войны на Конюшках обитала убогонькая Саша, так ее называли соседи. Мария Белкина вспоминала:

«Саша была Христова невеста, ей было лет семьдесят. Природа поиздевалась над ней как смогла: шея у нее была свернута набок, одно плечо вздернуто, другое опущено, ногу она приволакивала. Голова крохотная, глазки оловянные, волосы жиденькие, смазанные лампадным маслом. Всегда в черной монашеской косынке, черная юбка волочится по снегу, по грязи, и конюшковские мальчишки с улюлюканьем преследуют Сашу, пытаясь наступить ей на подол, а она бочком-бочком, бодая плечом воздух, бежит, припадая на одну ногу...» [1, 80–81].

Как-то морозным вечером Марина Цветаева была в гостях у этой Саши – в ее маленькой комнатке, больше напоминающей келью:

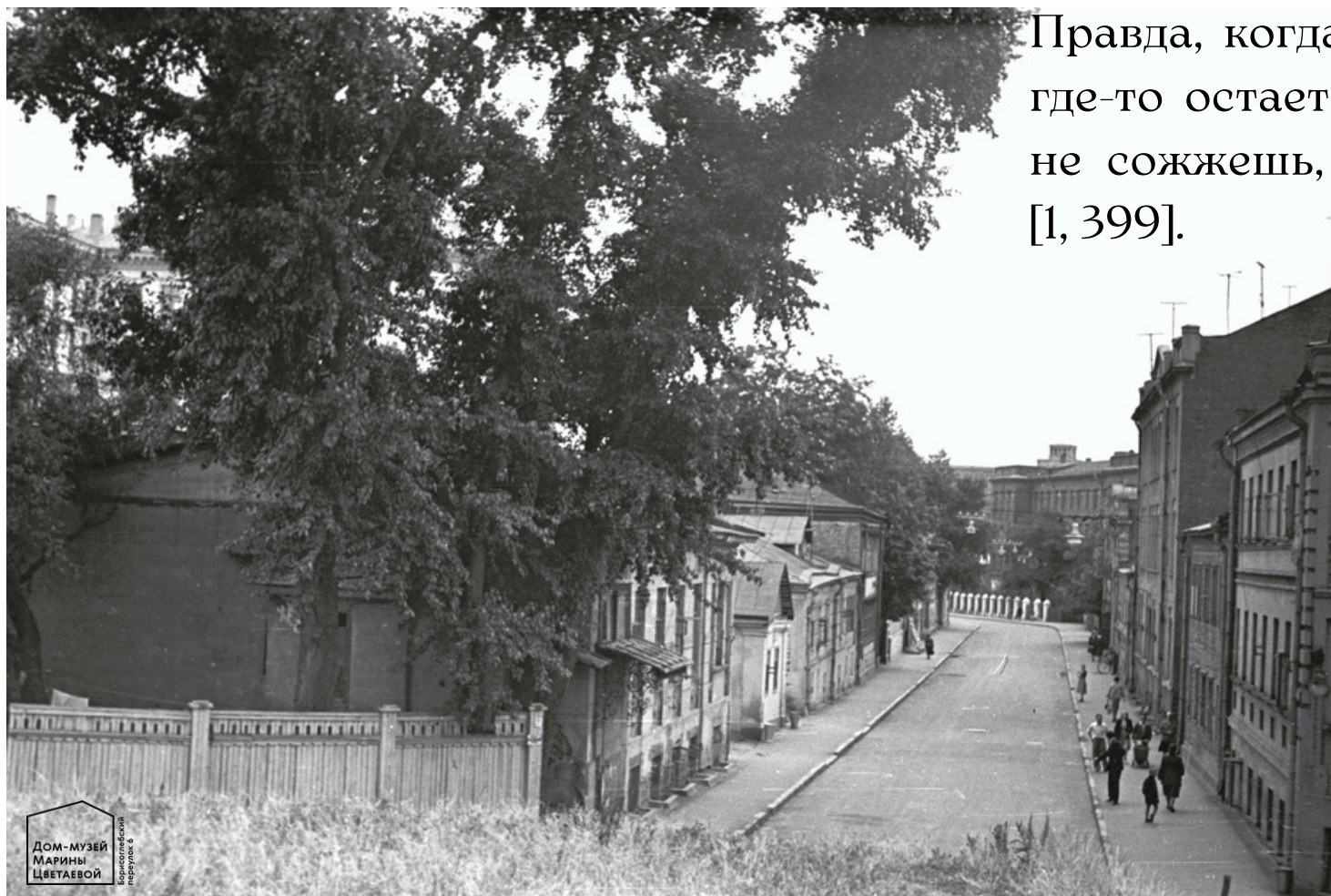
«Марину Ивановну я застала у Саши за перегородкой. Они сидели на сундуке, Саша что-то говорила, а Марина Ивановна слушала внимательно, склонив голову, держа в руке незажженную папиросу и коробок спичек, а в углу теплилась лампадка и висел все тот же грозный, с укоризненно поднятым пальцем Николай Угодник, которого я так боялась в детстве и перед ликом которого Марина Ивановна, видно, не решалась закурить. Когда мы шли обратно через двор ... Марина Ивановна вдруг остановилась и сказала:

– И это хотели у нее отнять! Интересно, каким бы лозунгом могли ей заменить эту веру?! Чем бы она стала жить? Как бы она жила?.. Ведь вера – это редчайший, Божий дар!..» [1, 83].

Конюшковские переулки в 1940-е годы напоминали дореволюционные старые улицы с деревянными домами. С началом войны Мария Белкина, жена Тарасенкова, уговаривает Марину Цветаеву забрать архив, потому что в случае попадания зажигательной бомбы дом может вспыхнуть как спичка, но Цветаева все же еще на некоторое время оставляет чемодан с рукописями в Конюшках, полагаясь на судьбу:

«...если суждено сгореть, то пусть сгорю здесь...

Правда, когда сгорает книга, где-то остается другая, всего не сожжешь, но рукописи...»
[1, 399].



Большой Конюшковский
переулок.
Фото Д. Никогосяна

В итоге она забирает архив и принимает решение оставить его в стенах Новодевичьего монастыря. В те годы монастырь был приспособлен под квартиры, и в одной из них жил поэт Садовской с женой, они-то и согласились стать хранителями архива Цветаевой. Монастырские стены, волей providения, стали последним пристанищем Цветаевой в Москве.



Новодевичий монастырь. Фото И.П. Машкова. [1949 г.]

**ОСТАВИВ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНИ ЗДЕСЬ, 8 АВГУСТА 1941
ГОДА ОНА УЕЗЖАЕТ В ТАТАРИЮ.
УЕЗЖАЕТ ИЗ МОСКВЫ НАВСЕГДА.**

Сохранились воспоминания о том, как в последний день перед отъездом ее удалось уговорить не покидать так спешно Москвы, не уезжать без денег в неизвестность. На помощь пришли Самуил Гуревич, возлюбленный Ариадны (они не были женаты, но в письмах к ней он подписывался: «твой муж»), и ее подруга Нина Гордон, с мнением которых Марина Ивановна всегда считалась. Они застали комнату на Покровском бульваре в настоящем предотъездном разгроме: на полу валялись дорожные мешки и чемоданы, которые Марина Ивановна спешно заполняла первыми попавшимися под руку вещами.



«Ее стали успокаивать, доказывать, что надо отложить отъезд, что нельзя так второпях! Что пароходы еще будут уходить, она успеет. Надо как следует подготовиться, они помогут, соберут ее, уложат вещи, оформят отъезд, проводят. Что надо раздобыть деньги... Надо отнести какие-то вещи в комиссионный магазин» [1, 413].

Марина Ивановна боялась сдавать вещи на свой паспорт, тогда Нина Гордон обещала ей, что сдаст на свой, так же как и сходит за справкой в домоуправление. Позднее, в 1942 году, Самуил Гуревич писал Але в лагерь, что им с Ниной казалось, что они уговорили Марину Ивановну не ехать в эвакуацию, что в тот вечер они оставили ее успокоенной и что она даже убрала чемоданы и мешки. Муля ушел, пообещав прийти завтра, Нина осталась, просидев допоздна.



Н.П. Гордон

После ухода Нины к Марине Ивановне пришли две женщины, одна из которых была женой писателя Бориса Александровича Садовского, у которых Марина Цветаева оставила свой архив. Жена Садовского советовала обратное – **уезжать**.

«Утром, как и было условлено, приехал Муля, но комната была пуста – ни вещей, ни Марины Ивановны, ни Мура не было» [1, 414].



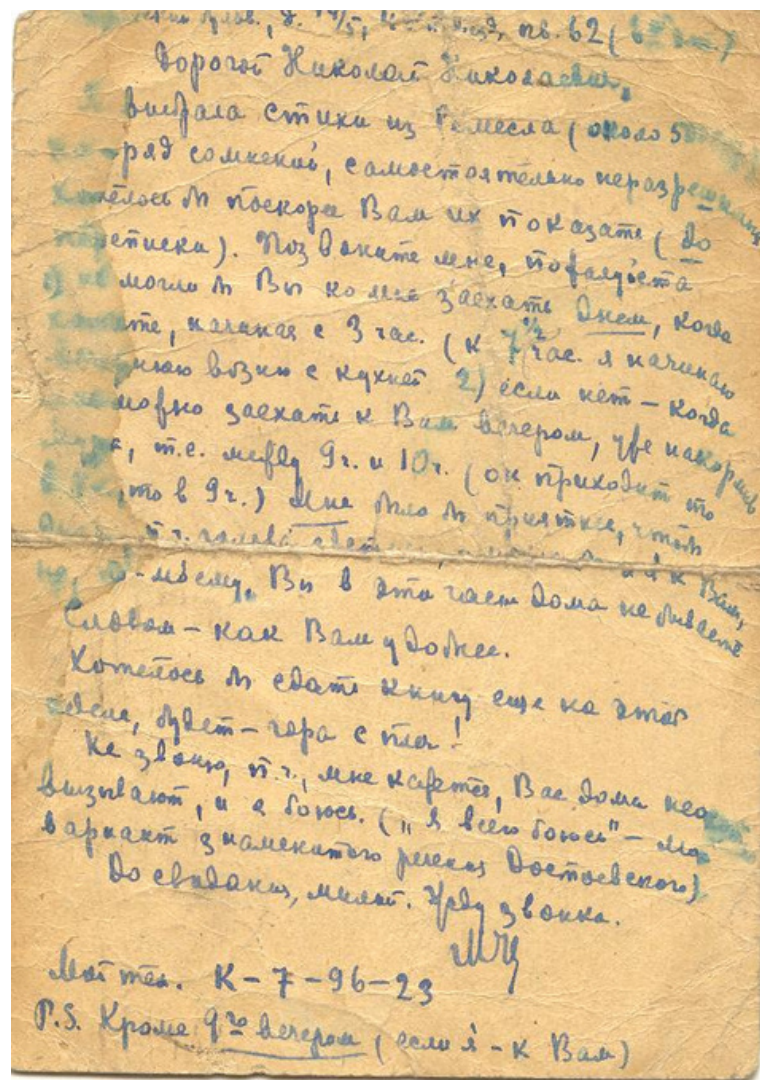
С.Д. Гуревич

Незаметно, инкогнито она приехала в Москву и так же незаметно уехала из нее, спасая единственного оставшегося при ней ребенка. В Москве Гражданской войны она потеряла свою маленькую **Ирину**, в Москве торжествующего социализма – уже взрослую **Ариадну**. В военной Москве она оставляет того, за кем следовала всю свою жизнь, – мужа. За ним она поехала в 1922 году в эмиграцию, за ним вернулась в СССР, о нем она хлопотала эти два года: два письма Наркому внутренних дел Л.П. Берии, ночные очереди в приемную НКВД на Лубянке, в Бутырскую тюрьму, Лефортовскую тюрьму... Мужу она посвящает последний сборник стихов, который готовит к печати в 1940 году, о нем ее последний плач Ярославны. Ровно двадцать лет назад во время Гражданской войны она так же мучилась неизвестностью о судьбе своего **Сережи**:

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, –

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец – чтоб было всем известно! –
Что ты любим! любим! любим! – любим! –
Расписывалась – радугой небесной.

В 1940-м она открывает свой сборник этим стихотворением, а в ее тетрадах можно найти более сорока вариантов строфы этого стихотворения:



Письмо на почтовой карточке. М.И. Цветаева
к Николаю Николаевичу Вильяму-Вильмонту.
[07.10.1940 г.]

Чем только не писала – и на чем?
И под конец – чтоб стало всем известно!
Что ты мне Бог, и хлеб, и свет, и дом! –
Расписывалась – радугой небесной.

И лезвием на серебре коры
Березовой, и чтобы всем известно,
Что за тебя в огонь! в рудник! с горы! –
Что ты – един, и нет тебе поры –

(Не позабыть древесную кору...)
И наконец, чтоб было всем известно,
Что без тебя умру, умру, умру!
Расписывалась радугой небесной.

**Сборник не вышел в 1941 году,
не прошел цензуру.**

Сергей Эфрон переживает Марину Цветаеву на полтора месяца. Вторая волна московской паники случится в октябре, когда не исключалась возможность вхождения немцев в город и жители Москвы бежали пешком на восток по шоссе Энтузиастов. 16 октября единственный раз за всю историю не открылся метрополитен, остановились трамваи и троллейбусы, перестали работать продовольственные магазины, а в учреждениях сжигались особо важные архивы, и, по воспоминаниям москвичей, смог стоял над городом и летел пепел, оседая на тротуарах, а из городских тюрем увозились заключенные в подмосковную Коммунарку для спешного приведения в исполнение приговора. **16 октября 1941 года был расстрелян Сергей Яковлевич Эфрон.** Город не был оккупирован, но 15–17 октября навсегда войдут в историю как дни «московской паники 1941 года».

ЛИТЕРАТУРА

1. **Белкина М.И.** Скрещение судеб: Попытка Цветаевой. Попытка детей ее. Попытка времени, людей, обстоятельств. Встречи и не встречи / Предисл. Н.А. Громовой. – М.: Издательство АСТ, 2017.
2. **Коркина Е.Б.** Летопись жизни и творчества М.И. Цветаевой. Часть III: 1939–1941. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014.
3. **Цветаева М.И.** Из записных книжек и тетрадей // Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. – М.: Эллис Лак, 1994.
4. **Цветаева М.И.** Неизданное. Семья: История в письмах / Сост., подгот. текста, коммент. Е.Б. Коркиной. – М.: Эллис Лак, 1999.
5. **Цветаева М.И.** Собр. соч.: в 7 т. Т. 2: Стихотворения. Переводы / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. – М.: Эллис Лак, 1994.
6. **Цветаева М.И.** Собр. соч.: в 7 т. Т. 7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. – М.: Эллис Лак, 1995.
7. **Эфрон Г.С.** Дневники: в 2 т. Т. 1: 1940–1941 годы / Подгот. текста, предисл., примеч. Е.Б. Коркиной, В.К. Лосской. – М.: Вагриус, 2004.

В проекте использованы предметы из фондов Дома-музея Марины Цветаевой, а также фотографии из открытых источников.

Текст Софья Давыдова

Редактор Любовь Викулина

Дизайн Александра Миндрина

Фото Ксения Логушкина, Николай Кожемякин, Наталья Федоренко